

М. А. Александрова

**ДЕКАБРИСТЫ В РОМАНЕ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕТАНТОВ»:
КОНТЕКСТ ТВОРЧЕСТВА, КОНТЕКСТ СОВРЕМЕННОСТИ**

Поступила в редакцию 04.09.2021 г.

Рецензия от 15.10.2021 г.

80

Актуальность темы статьи определяется как запросом современного литературоведения на ревизию советских идеологических трактовок декабризма, так и задачей углубленного изучения романа Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов» (1971 – 1977) – культовой книги позднесоветской эпохи. Важнейшее для писателя художественное высказывание рассматривается в контексте декабристского мифа советской интеллигенции, расцвет которого пришелся на 1970-е гг. Цель нашего исследования – прояснить своеобразие авторской концепции декабризма на фоне двух версий идеализирующего мифа о героях прошлого (официальной и оппозиционной, популярной у большинства читателей-современников). Рабочая гипотеза исследования базируется на идеях Г. А. Белой: это проблематизация «бесспорных» исторических ценностей в романном творчестве Булата Окуджавы и тесная связь его исторической проблематики с коллизиями XX столетия. В статье заново поставлен вопрос о преемственности развития декабристской темы в трех романах (трилогии) Окуджавы («Бедный Авросимов», «Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом»), предпринят анализ сквозных для его творчества метафор, характеризующих трагедию идеалистов в суровой исторической реальности.

The relevance of the topic is determined by the request of modern literary study to revise the Soviet ideological interpretations of Decembrism, as well as by the task of thorough analysis of Bulat Okudzhava's novel "Journey of Dilettantes" (1971–1977), an iconic book of the late Soviet era. The most important artistic statement of the writer is considered in the context of the "Decembrism myth" of the Soviet intelligentsia, which achieved the peak of its popularity in the 1970s. The purpose of the study is to clarify the originality of the author's concept of Decembrism at the background of two versions of the idealizing myth about the heroes of the past (official and oppositional). The hypothesis of the research is based on the ideas of Galina Belaya: it is challenging "indisputable" historical values in the work of Okudzhava and the close connection of historical issues with the present. The article addresses the continuity of the Decembrism theme in three Okudzhava's novels ("Poor Avrosimov", "Journey of Dilettantes", "A Date with Bonaparte"), analyses the metaphor that characterizes the tragedy of idealists in the harsh historical reality.



Ключевые слова: Булат Окуджава, Г. А. Белая, декабристы, миф, ностальгия, контекст

Keywords: Bulat Okudzhava, Galina Belaya, Decembrists, myth, nostalgia, context

Декабристский миф и его интерпретаторы

«Декабристолобие» интеллигенции позднесоветской эпохи трактуется в современных исследованиях как мифотворческая позиция, не имевшая санкции в официальном историческом дискурсе: «Будучи порождением коллективного бессознательного, нуждающегося в определенной сакральной зоне, на которую не распространяется власть... мифотворчество живет по правилам, не поддающимся манипулятивным техникам» [11, с. 56]. При этом обе версии декабристского мифа (как это свойственно всякой апелляции к исторической традиции) осуществляли «преобразование *неоднозначных* фактов прошлого в *однозначные* ценности настоящего» [24, с. 434]¹. Идеологема «декабристы разбудили Герцена», осмеянная Наумом Коржавиным в знаменитом стихотворении «Памяти Герцена, или Баллада об историческом недосыпе» (1969), сменилась столь же монолитными смысловыми «блоками». Актуализация мифа не допускает его ревизии; поэтому автор художественной интерпретации декабризма может испытывать давление не только со стороны инстанций, контролирующих сферу публичного высказывания.

Любое самостоятельное сознание в силах проигнорировать официальный диктат; даже успешные манипуляции общественным мнением — агрессивные «мифы коллективной памяти, поддерживающие претензии той или иной общности на высокий статус, материальные, территориальные, политические и иные преимущества в настоящем» [20, с. 8–9], фактически имеют альтернативу. Об этом свидетельствует весь новейший период отечественной истории. Только массовые репрессии, когда общество «охвачено недифференцированным страхом», а граница между публичным и приватным пространством стерта практикой доносов, обеспечивают молчание несогласных и, следовательно, блокируют коллективную рефлексию [7, с. 29]. При смягчении режима возникает неформальная «приватно-публичная сфера» [7, с. 35–36] в самых разных ее вариантах — от знаменитой интеллигентской кухни до академических кругов, сплоченных признанием собственных авторитетов, лидеров научного свободомыслия. В этом пространстве относительной свободы творятся и рациональные гуманитарные концепции, и мифы как «проекты прошлого», со временем легализуемые для более или менее широкой публики. В советских условиях была неизбежной разобщенность «как образотворческого андеграунда, так и истолковательских групп» [10, с. 322], но вопреки всему либеральная творческая среда постоянно воспроизводила себя: «Исторические разработки Н. Эйдельмана, романы-аллюзии Б. Окуджавы, “Пушкинский дом” А. Битова питались импульсами, символами, чувствами этой среды, в свою очередь, подпитывая ее сами» [10, с. 322].

¹ Курсив в цитатах везде мой. — М. А.



С тех пор в меняющихся исторических обстоятельствах возможности легализации «несанкционированных» идей и текстов то сужались, то расширялись, но унификация исторической памяти стала принципиально невозможной. Каждая попытка централизованно «спроектировать прошлое» раскалывает общество, не отнимая в реальности право выбора: сферой духовной свободы человека — творца и его читателя, зрителя — остается круг «своих». Poleмика с «чужими» на почве истории неизменно укрепляла веру либеральной интеллигенции в собственный «проект прошлого». Между тем рефлексия о сущности почитаемого «своими» наследия всегда требует незаурядной отваги.

Среди художников второй половины XX в. никто не ассоциируется с памятью о декабризме так прочно, как Булат Окуджава. Хотя поэтическая и прозаическая декабристиана непрерывно пополнялась благодаря энтузиазму множества авторов, общественное мнение позднесоветской эпохи отводило Окуджаве уникальное место, словно бы симметричное в этом отношении пушкинскому. Автор послания «В Сибирь» завещал будущему образ идеалистов, чье «дум высокое стремленье» заслуживает воздаяния, носителей неотчуждаемого благородства, которым «братья меч... отдадут» [19, с. 49]; С. И. Чупринин в статье 1985 г. провозгласил Окуджаву самым авторитетным наставником в деле почитания декабристов, олицетворяющих «национальное понятие о чести, бескорыстии и рыцарственной доблести» [23, с. 261].

В «Батальном полотне» была усмотрена «романтическая интерпретация молодости декабристов» [9, с. 4]; «Лунин в Забайкалье» и «Песенка кавалергарда», сопровождавшая в фильме Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» сюжетную линию поручика Анненкова, воспринимались как манифестации ностальгического культа Героев. Посвящение «Лунина...» Натану Эйдельману становилось в глазах читателей не просто данью благодарности автору блестящей книги, но и ключом к ее актуальным подтекстам. В том же духе трактовалась верность декабристской теме Окуджавы-романиста. Чтение сплачивало всех поклонников дворянских свободолюбцев в своеобразное «тайное общество»: игнорируя официальную трактовку декабризма, «“электорат” диссидентов жадно проглатывал эзопов язык произведений Булата Окуджавы и Натана Эйдельмана» [14, с. 15].

Только Г. А. Белая своевременно поставила вопрос о том, что постоянство «мысли декабристской» в творчестве Окуджавы формирует самобытную, сложную художественно-философскую концепцию, не совпадающую с привычным образом прошлого [3, с. 207]; «Установка Окуджавы на выработку у современного читателя определенных представлений о ходе жизни, о смысле истории, о “высших законах”, по которым должна развиваться духовная жизнь человека, побуждает его превращать факты “устоявшиеся” (так он говорит о прошлом) в факты *дискуссионные*» [3, с. 210–211]. С доступной для подцензурного текста ясностью было сказано о тревоге исторического романиста по поводу неусвоенных уроков прошлого. Благодаря Г. А. Белой научное освоение творческого наследия писателя началось с констатации противоречия: при жизни «Окуджава был прочувствован, но не понят» [4]. Однако и сегодня окуджавская рефлексия о декабризме остается наименее понятой гранью его творчества.



Отказ от мифоборчества по отношению к традициям прошлого, провозглашенный современным декабристоведением [2], все еще действует избирательно. Исследователи декабристского мифа как феномена культурно-исторической памяти зачастую представляют свой объект весьма обобщенно, то есть приблизительно. Поэтому в последние годы Окуджава не раз был объявлен главным ответчиком за поддержание антиисторического взгляда на первых русских революционеров. Так, С. Е. Эрлих связывает эффектной формулой две фигуры: отечественную декабристиану «отличают авторское и жанровое разнообразие — от Николая I до Окуджавы» [25, с. 60]; художник, оказавшийся в паре с автором официального «злодейского» образа декабристов, предстает создателем мистифицирующей версии с обратным знаком. По мнению С. Е. Эрлиха, романная трилогия — «Глоток свободы» («Бедный Авросимов»), «Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом» — дает «наиболее яркий пример» лестной для поколения «шестидесятников» анахронической параллели: в изображении Окуджавы декабристы «“все такие богатые, умные, надменные аристократы”¹ — точь-в-точь интеллигенты в своих собственных мечтах», далеких от печальной советской реальности, где они были «на смерть перепуганы держимордами “из Органов”» [25, с. 66–67]. Устойчивость репутации Окуджавы, сложившейся в 1960–1970-е гг., характеризует в первую очередь инерцию воспринимающего сознания. Наша задача заключается в том, чтобы приблизиться к пониманию собственной позиции художника.

«Бесспорные» ценности и их проблематизация

В пьесе «Глоток свободы» (1966) Окуджава еще отдал дань официальной идее «трех этапов освободительного движения» — и уже выразил новые исторические эмоции, рождавшиеся в ситуации конца «оттепели». Но спустя всего два года автор романа «Бедный Авросимов» (1968) оспорил предписанную свыше трактовку первых русских революционеров; тогда же началось полемическое осмысление интеллигентской версии мифа. В понимании Окуджавы *дум высокое стремление* предстает трудным, долгим поиском путей к общественному благу: декабристы «были несведущи и неопытны, и не всегда прекрасны, и не во всем правы, но, страдая, пробираясь в потемках, они, сами того не подозревая, привили своим современникам способность самостоятельно мыслить» [21, с. 345].

Создание «Путешествия дилетантов» пришлось на время расцвета ностальгического культа декабристов, поэтому самая авторитетная в 1970-е гг. интерпретация романа — статья Я. А. Гордина «Любовь и драма Мятлева» (1979) — выдвинула декабристскую тему на первый план. Тезис о «декабристе, опоздавшем родиться», способном, в силу исторических обстоятельств, лишь на пассивное сопротивление [9, с. 4], должен был защитить автора от обвинений в приверженности к «аполитичному» персонажу; но общую установку доброжелательного критика обусловили отнюдь не тактические задачи. Главенство героев 14 декабря в культурном сознании позднесоветской эпохи диктовало «вчитывание» такой же иерархии в роман Окуджавы, внушало представление о том,

¹ Процитирован монолог капитана Майбороды из романа «Бедный Авросимов».



что главное одушевляющее автора чувство — «ностальгия по тому стилю жизненного поведения, которое связывается у нас с эпохой декабристов» [9, с. 4]. К восприятию этой трактовки и ее актуальных подтекстов читатель-современник был хорошо подготовлен — в то время как официальные инстанции пытались противопоставить «заговору» инакомыслящих «единственно правильную» концепцию декабризма; в ситуации идеологического кризиса она отзывалась непредумышленной пародийностью: «Движение декабризма в нашем понимании связывается прежде всего с самоотверженной любовью к народу, свободолюбивыми порывами, преданностью высоким идеалам общественной справедливости, организованным участием в борьбе за воплощение их в жизнь» [12, с. 5].

Декабризм стал отправным пунктом размышлений о главном герое и в других откликах на роман. Так, Б. Хотимский констатировал, что вольнодумец Мятлев, в отличие от людей предшествующего поколения, натура «не столько мятежная, сколько мятущаяся, смятенная», «далеко не “Рыцарь Справедливости”», какими были декабристы, но жертва последствий катастрофы 1825 г. [22, с. 75, 77]. С точки зрения М. Бойко, «Мятлев у Б. Окуджавы не декабрист, а человек безвременья... В его натуре проступают черты надлома», однако важнее то, что «связывает его с дворянской культурой начала века, с широко понятыми принципами благородства, независимости, артистизма» [5, с. 43]. Как сказал Я. А. Гордин, «мы ясно представляем себе, что такое декабристское благородство» [9, с. 4].

Необычность освещения Окуджавой исторического дела декабристов привлекла внимание позднее, в «перестроечном» 1986 г., но и тогда нашлось объяснение, не ставящее под сомнение целостность любимого мифа. Ответственными за исторические оценки были объявлены персонажи — пленники своей эпохи:

Страдание героев обострялось тем, что подвижничество их святых предшественников... жертва этих людей теперь, *страшно вымолвить*, представляется чуть не напрасной... Это нам теперь из дали истории все представляется упорядоченно-неуклонным, а тогда-то, из душной теснины, из беспросветности? [13, с. 537].

Оптимистичное толкование исторической перспективы в данном случае обусловлено, вероятно, настроениями политического момента; в остальном же логика прочтения декабристских страниц романа отражает характерную для либерального сознания советского времени иерархию ценностей: «Из неверия и отравы последующего поколения, от лица тех, кого в общем уже и наследниками назвать трудно», задает Мятлев «болезненный вопрос» [13, с. 537–538] о стремлении «образованных собратьев»

...во искупление собственной вины нарядить этих сеющих, жнущих и пахущих в кринолины и фраки под стать себе самим, чтобы можно было глядеть «в глаза просвещенной Европе»... *А нужно ли было все это?* Чем кончаются у нас вспышки такой отчаянной любви? Никого уж нет, не осталось... а деревни и ныне те ж... [16, с. 331].



Между тем конкретно-историческая мотивировка скепсиса Мятлева не может быть признана исчерпывающей: слишком тесна лирическая связь романиста с героем. «Из дали истории» писателю открылось отнюдь не «упорядоченно-неуклонное» (В. Курбатов) движение к лучшему, которое должно оправдать торопивших будущее свободолобцев, но клубок противоречий, доставшийся в наследство их потомкам. Как раз ко времени работы над «Путешествием дилетантов» относится запись монолога Окуджавы о декабристах, где он размышляет об исторической цене благородного порыва, отсрочившего на десятилетия необходимые стране реформы [6, с. 76–83]. С другой стороны, советский застой, осознаваемый как повторение на новом витке николаевского безвременья, вынуждал мысленно соединить концы логической цепи при поиске ответа на вопрос: *А нужно ли было все это?* Исторический процесс, в который попытались некогда вмешаться декабристы, снова зашел в тупик, обрекая на прозябание и скорбящих о народе «утонченных одиночек» [16, с. 194], *и сеющих, жнущих и пахущих*.

Наконец, предметом рефлексии писателя становится парадокс идеологического «присвоения» декабризма именно теми силами, которые воскресили дух империи Николая I в позднесоветскую эпоху; при этом злободневные аллюзии, особенно внятные на фоне казенной риторики юбилейного 1975 года, превращаются в инструмент масштабного обобщения. Амиран Амилахвари, один из двух авторских *alter ego* в романе, приходит к заключению, что носители «высшего благородства» [16, с. 14] (каким был Сергей Муравьев-Апостол), «одинокие гении» во все века «становятся жертвами собственных собратьев, которые клянутся впоследствии их святостью, собираясь на очередное темное дело» [16, с. 51]. Лицемерие клянувшихся самоочевидно, но посмертно «присвоенные» поневоле оказываются связаны с *очередным темным делом*, — и безвинным в истории не остается никто. Если поклонявшаяся декабристам интеллигенция просто игнорировала официозную трактовку любимых героев, то Окуджава увидел в параллельном существовании двух версий мифа симптом реальной проблемы.

Все это не ослабляет заразительности эмоций героев романа, для которых катастрофа 14 декабря даже спустя четверть века остается живой раной: еще до гибели Лермонтова

...в сердце Мятлева... были похоронены многие другие, удостоившиеся в прошлом чести висеть, быть приставленными к стенке, гнить в рудниках, разбивать головы о двери казематов. И от этого сердце было разбухшим... [16, с. 91].

Автор наделил Мятлева своим пристрастием к личности Сергея Муравьева-Апостола [6, с. 79]. Главную комнату в доме князя украшало «громадное полотно в тяжелой позолоченной раме... живописующее сошествие на американский берег первых конкистадоров» [16, с. 14]; секрет картины заключался в изображении, под видом вождя туземцев, «государственного преступника»: «пронзительный, исполненный силы и страдания умный взгляд останавливал внимание» [16, с. 14]; в этом



взгляде «таилось предчувствие гибели и бессилие перед неумолимостью природы» [16, с. 50], внушающей большинству людей «жажду насилия и власти» [16, с. 51].

Персонажи романа, включенные в декабристский мартиролог, связаны отношениями взаимной дополнительности. Соотнесенной с Муравьевым-Апостолом фигурой предстает разжалованный поручик Распевин, погибший в бою при Валерике. С одной стороны, схватка с горцами на берегу дикой реки представляет собой параллель к историческому сюжету картины, маскирующей портрет казненного. С другой — Распевин, в отличие от товарища по заговору, выступает как носитель иллюзий:

86

В прошлом блистательный поручик... *полный радужных надежд*, подавшись велению сердца и человеческого долга, вышел на отважный поединок со злом, был повержен, сломлен, лишен всяких прав и вместе с соучастниками закован в цепи... Бог весть сколько железной руды выгреб он из сибирской земли, из этой нескончаемой кладовой наших богатств и печали, куда наконец к нему не снизошли. Его перевели на Кавказ в действующие войска солдатом, но до первого отличия в деле. Когда перед охотниками открылся Валерик, *мысль о смерти не возникла у него*. Напротив, он просто *бредил удачей* и скорейшим возвращением в прежнее свое качество [16, с. 10–11].

Уповающий на лучшее Распевин оказывается олицетворением обреченности — и тем самым подтверждает трагическую прозорливость Муравьева-Апостола.

Важное место в этой системе отношений отведено случайной жертве исторического катаклизма — Модесту Жильцову. Власти отказали ему и в беспристрастном разбирательстве мнимой вины (под предлогом, будто «все запираются, сказываясь несведущими» [16, с. 64]), и в милосердии, «ибо... помилование может выглядеть актом несправедливости по отношению к прочим отбывающим наказание преступникам» [16, с. 72]. Судьба «декабриста поневоле» с говорящим именем (Модест означает *скромный*) характеризует не только жестокость императора, видящего повсюду нераскаянных врагов. Будучи приравнен каторжным приговором к действительным участникам *отважного поединка со злом*, Жильцов в их ряду символизирует предел слабости. Поэтому «святая слепота» одних [16, с. 194] парадоксальным образом смыкается с беспомощностью других.

Открытые исторические вопросы

Кульминационный эпизод в развитии декабристской темы — кавказская встреча князя с «давнишним ниспровергателем устоев» [16, с. 372]. Разжалованный офицер, которому за долгие годы солдатчины не выпало случая отличиться или погибнуть в бою, знававший убитого при Валерике «старика Распевина», он остается безымянным и является Мятлеву в призрачном ореоле, словно бы из-за черты бытия, из вечности. От лица персонажа, наделенного таким необычным статусом, оглашены идеи, выводящие полемику автора романа с традиционным представлением о декабризме на новый уровень.



Собеседник Мятлева оказывается выше обращенного к нему сострадания, хотя двадцатипятилетнее наказание «показалось внезапно столь жестоким и фантастичным, что захотелось кричать и бить кулаком по столу» [16, с. 372]. Негодование против жестокого победителя, столь естественное, неожиданно вызывает отпор со стороны побежденного:

— Неужели он¹ никогда не поймет, что это слишком высокая цена за его чистую совесть? — воскликнул Мятлев раздраженно.

Солдат, конечно, понял, кого имеет в виду этот... петербургский гость.

— Видите ли, ваше сиятельство, — сказал он спокойно и серьезно, — за все, вероятно, надо расплачиваться. Некоторые в молодости полагают или надеются, что цена может оказаться ниже. Это заблуждение. Мы с ним и одногодки, почти одногодки, и оба это уже хорошо теперь осознаем...

— Так ведь это он устанавливает цену, а не вы!

— Видите ли, дело в том, что цену устанавливают сами поступки, как выяснилось, и, к сожалению, этому нельзя научить, это надо у з н а т ь самому... Ежели у вас с ним счеты, — продолжал солдат тихим, ровным голосом, — о цене можно не беспокоиться: меньше, чем полагается за зло, ни одному платить не придется...

— Да жертва-то вы! — сказал Мятлев, слабея.

— Кто знает, — улыбнулся солдат, — этого никто не знает...

— Да вы вслушайтесь, вслушайтесь, что он говорит, — шепнула Лавиния, сжимая руку Мятлеву, — *кажется, он прав...* [16, с. 373].

Чуткость Лавинии — важный аргумент в споре. Пристрастия Мятлева глубоко человечны, но они же мешают ему увидеть, что все участники противостояния, осуществившие свою историческую волю, несут равную ответственность. Несомненно, Окуджава в этом эпизоде отрефлексировал собственные симпатии, которые властно влекли его (подобно многим) к возвеличению страдающей стороны. Показательно, что в диалоге с открытым финалом невостребованным остается такой привычный для советской декабристианы ход, как апелляция потерпевших поражение к потомкам, чья историческая пронизательность и благодарность «первенцам свободы» решают все. Преодолевая заданный традицией уровень понимания, писатель находит убедительный прием, который в ином свете представляет историческую коллизию: на истину указывает не «третейский суд», но сам декабрист, заслуживший это право всей своей жизнью; именно его слово веско опровергает упрощенные оценки ситуации. Признание его правоты означает, что благородно-односторонний декабристский миф не может быть источником критериев для суждений о прошлом.

Окуджава заново ставит вопрос о ценности опыта декабристов, шире — об историческом предназначении таких идеалистических поступков, не достигающих конкретных целей, но оставляющих по себе долгую память. Наделив своего безымянного героя высшей мудростью, автор именно ему доверяет констатировать, что *никто не знает* окончательных ответов; в то же время перед каждым поколением вечные проблемы встают неотвратимо.

¹ Разрядка в тексте принадлежит Б. Ш. Окуджаве.



Диалог с Пушкиным

Послание «В Сибирь», будучи первым актом мифологизации декабристов, продолжало играть важную роль в формировании ностальгического культа рыцарей свободы. Если толкование текста как «предсказания победы революции» потеряло авторитетность вместе с официальной версией декабристского мифа, то оптимистический пафос стихотворения оставался востребован: он был источником «лучезарного» ореола героев эпохи, все более настойчиво идеализируемой в качестве «золотого века». Отсылки к пушкинскому стихотворению содержат все исторические романы Окуджавы (см. подробнее: [1]), и с самого начала его творческая рецепция отмечена иной, нежели в первоисточнике, тональностью.

Эпизод фантазий Авросимова об освобождении Пестеля из крепости представляет собой развернутый парафраз пушкинской метафоры:

Как же все это должно свершиться? Как же будет он уходить от сих стен, сквозь решетки, через штыки? Где она, где та счастливая лазейка, которая снилась ночами?.. Или воистину весь Петербург только этим и дышит, вздымая свою больную грудь, и будет так, что все, крича и ликуя, хлынут на эту стену, так что она рухнет, и полковник, пожелтевший от раздумий и боли, выкарабкается из-под развалин, чтобы упасть людям на руки? [17, с. 253].

Сравним:

...Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут [19, с. 49].

Автор послания лирическим усилием разрешает современную, длящуюся драму; автор романа имеет дело с исторической реальностью, не оправдавшей надежд на торжество братства — ни в николаевскую эпоху, ни в XX столетии. Сама буквализация метафоры *темницы рухнут*, то есть конкретность действия («все, крича и ликуя, хлынут на эту стену, так что она рухнет» [17, с. 253]) подчеркивает невероятность события. Декабристиана Окуджавы позволяет достаточно уверенно реконструировать личный (собственно авторский) подтекст фантазий персонажа: неспособность воспринимать отстраненно беду полуторавековой давности, живое чувство боли — все это сублимировано в мечте «маленького человека» о невозможном.

Дальнейшую рефлексию Окуджавы о пушкинской утопии во многом объясняет стихотворение «Я вновь повстречался с Надеждой...»



(1976), написанное в период работы над «Путешествием дилетантов». «Несчастью верная сестра, // Надежда» [19, с. 49] сродни его собственной героине:

Я вновь повстречался с Надеждой — приятная встреча.
Она проживает все там же — то я был далече,
все то же на ней из поплина счастливое платье,
все так же горящ ее взор, устремленный в века...
Ты наша сестра, мы твои удивленные братья,
И трудно поверить, что жизнь коротка [15].

Сестра-Надежда, чей взор всегда устремлен *в века*, и грустная констатация, что *жизнь коротка*, зарифмованная с метафорой вечности, дают наглядность одной из важнейших антиномий творчества Окуджавы; она проецируется и на романский образ судьбы декабристов.

Тайное неистребимое сочувствие, которым окружены в мире «Путешествия...» побежденные, лишь подчеркивает невозможность чуда, беспомощность *любви и дружества* перед земной властью; поэтому «удостоившиеся в прошлом чести висеть» уравниваются с обреченными «гнить в рудниках, разбивать головы *о стены казематов*» [16, с. 76]. В символ безнадежности возведено самоубийство в Петропавловской крепости полковника Булатова, разбившего голову о стену [8, с. 60–64]. Контрастная параллель к *рухнувшим темницам* усилена мотивом плена времени. Распевин успел состариться прежде, чем его освободила смерть в бою; но еще тяжелее участь наказанного бессрочной солдатчиной. Объективный ход истории ведет к переменам. Злопамятный властитель, который тоже стареет («Мы с ним одногодки», — замечает безымянный декабрист о своем палаче [16, с. 338]), сам себе готовит возмездие — поражение в Крымской кампании; наступление эпохи амнистий и реформ неизбежно. Однако для тех, кто застигнут безвременьем, оно длится вечно, а *жизнь коротка*.

В «Свидании с Бонапартом» мотив короткой жизни также сопровождается аллюзиями к пушкинскому тексту, но полемические акценты расставлены иначе. *Темница* (крепость) — метафора государственного порядка, претендующего быть основой бытия. Бездушный камень неизбежно переживет идеалистов, чей порыв — лишь отражение «вечного поединка неумерной фантазии с *хладным гранитом*» [18, с. 509].

Заключение

Атмосфера ностальгического культа декабристов стимулировала исторические штудии писателя, благодаря которым сложился его трезвый взгляд на декабризм как явление прошлого; однако полемика с декабристским мифом как современным явлением, глубоко укорененным в культуре, не была прямолинейной. Сложность авторской позиции выражает в зрелом творчестве Окуджавы сама поэтика исторических «портретов». Символизация фигуры Сергея Муравьева-Апостола в качестве беспомощного прозорливца, видящего впереди не только собственную гибель, но и бесконечную цепь насилия, предвещает историко-философские метафоры «Свидания с Бонапартом».



После «Путешествия...» критика революционаризма усиливается, но вместе с тем возрастает и пафос сострадания к декабристам — двойникам «бумажных солдат» любого столетия, участникам трагедии, повторяющейся из века в век. Таким образом, роман «Путешествие дилетантов» явился важнейшим этапом формирования экзистенциальной проблематики творчества Окуджавы.

Список литературы

1. *Александрова М. А.* «Оковы тяжкие падут, темницы рухнут...»: пушкинская поэтическая утопия в рецепции Булата Окуджавы // Болдинские чтения. Н. Новгород, 2021. С. 114–124.
2. *Андреева Т. В., Ильин П. В., Белоусов М. С. и др.* Историческая память России и декабристы. 1825–2015 // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История. 2016. Вып. 2. С. 168–181.
3. *Белая Г. А.* Литература в зеркале критики. М., 1986.
4. *Белая Г.* Он не хотел жить с головой, повернутой назад // Булат Окуджава. Спец. вып. [Лит. газ.] 1997. [21 июля]. С. 15.
5. *Бойко М.* Этот близкий неразгаданный век // Литературное обозрение. 1979. №10. С. 42–45.
6. *Виноградов Вл.* Монолог Мастера о декабристах : [расшифровка фонограммы] // Голос надежды: Новое о Булате. М., 2009. Вып. 6. С. 76–83.
7. *Воронков В.* 25 февраля 1956 года — начало «разномыслия» в СССР // Разномыслие в СССР и России (1945–2008). СПб., 2010. С. 28–36.
8. *Гордин Я.* Гибель полковника Булатова // Аврора. 1975. №12. С. 60–64.
9. *Гордин Я.* Любовь и драма Мятлева // Литературная газета. 1979. 1 янв. С. 4.
10. *Дубин Б. В.* Слово — письмо — литература: Очерки по социологии современной культуры. М., 2001.
11. *Загидуллина М. В.* «Пушкин и декабристы» в свете теории мифа // Челябинский гуманитарий. 2009. №3 (9). С. 56–65.
12. *Комментарий* отдела критики: [К разделу «Два мнения о романе Булата Окуджавы “Путешествие дилетантов”»] // Литературная газета. 1979. 1 янв. С. 5.
13. *Курбатов В.* За шлагбаумами // Окуджава Б. Путешествие дилетантов. М., 1986. С. 534–555.
14. *Леонтьев Я. В.* Может ли подвиг быть напрасным? (Юбилейные заметки о декабристах) // «Мы дышали свободой...»: Историки Русского Зарубежья о декабристах. М., 2001. С. 7–23.
15. *Окуджава Б.* Я вновь повстречался с надеждой... // День поэзии — 1977. М., 1977. С. 37.
16. *Окуджава Б. Ш.* Путешествие дилетантов: из записок отставного поручика Амирана Амилахвари : роман. М., 1980.
17. *Окуджава Б. Ш.* Бедный Авросимов : роман // Избр. произв. : в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 25–264.
18. *Окуджава Б. Ш.* Свидание с Бонапартом : роман // Избр. произв. : в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 265–527.
19. *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. : в 16 т. М. ; Л., 1948. Т. 3, кн. 1.
20. *Репина Л. П.* Память о прошлом и история // Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории. М., 2008. С. 7–18.
21. *Русские писатели в журнале «Secul 20»:* Булат Окуджава [о романе «Бедный Авросимов»] // Вопросы литературы. 2007. №1. С. 344–346.



22. Хотимский Б. Мятлев, гуляющий «сам по себе» // Литературная Грузия. 1977. №8. С. 73–77.
23. Чупринин С. И. На ясный огонь // Новый мир. 1985. №6. С. 258–262.
24. Шацкий Е. Утопия и традиция / пер. с польск. М., 1990.
25. Эрлих С. Е. Россия колдунов. СПб., 2006.

Об авторе

Мария Александровна Александрова – канд. филол. наук, доц., Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, Россия.

E-mail: nam-s-toboi@mail.ru

91

The author

Dr Maria A. Aleksandrova, Associate Professor, Nizhny Novgorod Linguistics University, Russia.

E-mail: nam-s-toboi@mail.ru